

ВАСИЛИЙ А. НИКИФОРОВ-ВОЛГИН

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ДЕТСТВО»

Великий Пост

Редкий великопостный звон разбивает скованное морозом солнечное утро, и оно будто бы рассыпается от колокольных ударов на мелкие снежные крупинки. Под ногами скрипит снег, как новые сапоги, которые я обуваю по праздникам.

Чистый понедельник. Мать послала меня в церковь «к часам» и сказала с тихой строгостью: «Пост да молитва небо отворяют!»

Иду через базар. Он пахнет Великим постом: редька, капуста, огурцы, сушеные грибы, баранки, сметки, постный сахар... Из деревень привезли много веников (в чистый понедельник была баня). Торговцы не ругаются, не зубоскалят, не бегают в казенку за сотками и говорят с покупателями тихо и величательно:

- Грибки монастырские!
- Венички для очищения!
- Огурчики печорские!
- Сметочки причудские!

От мороза голубой дым стоит над базаром. Увидел в руке проходившего мальчишки прутик вербы, и сердце охватила знобкая радость: скоро весна, скоро Пасха и от мороза только ручейки останутся!

В церкви прохладно и голубовато, как в снежном утреннем лесу. Из алтаря вышел священник в черной епитрахили и произнес никогда не слышимые слова:

«Господи, иже Пресвятаго Своего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся»...

Все опустились на колени, и лица молящихся, как у предстоящих перед Господом на картине «Страшный суд». И даже у купца Бабкина, который побоями вогнал жену в гроб и никому не отпускает товар в долг, губы дрожат от молитвы и на выпуклых глазах слезы. Около Распятая стоит чиновник Остряков и тоже крестится, а на масленице похвалялся моему отцу, что он, как образованный, не имеет права верить в Бога. Все молятся, и только церковный староста звенит медяками у свечного ящика.

За окнами снежной пылью осыпались деревья, розовые от солнца.

После долгой службы идешь домой и слушаешь внутри себя шепот: «Обнови нас, молящихся... даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». А кругом солнце. Оно уже сожгло утренние морозы. Улица звенит от ледяных сосуллек, падающих с крыш.

Обед в этот день был необычайный: редька, грибная похлебка, гречневая каша без масла и чай яблочный. Перед тем как сесть за стол, долго крестились перед иконами. Обедал у нас нищий старичок Яков, и он сказывал: «В монастырях, по правилам святых отцов, на Великий пост положено сухоястие, хлеб да вода... А святой Ерм со своими учениками вкушали пищу единожды в день и только вечером»...

Я задумался над словами Якова и перестал есть.

– Ты что не ешь? – спросила мать.

Я нахмурился и ответил басом, исподлобья:

– Хочу быть святым Ермом!

Все улыбнулись, а дедушка Яков погладил меня по голове и сказал:

– Ишь ты, какой восприёмный!

Постная похлебка так хорошо пахла, что я не сдержался и стал есть; дохлебал ее до конца и попросил еще тарелку, да погуще.

Наступил вечер. Сумерки колыхнулись от звона к великому повечерию. Всей семьей мы пошли к чтению канона Андрея Критского. В храме полумрак. На середине стоит аналой в черной ризе, и на нем большая старая книга. Много богомольцев, но их почти не слышно, и все похоже на тихие деревца в вечернем саду. От скудного освещения лики святых стали глубже и строже.

Полумрак вздрогнул от возгласа священника – тоже какого-то далекого, окутанного глубиной. На клиросе запели, – тихо-тихо и до того печально, что защемило в сердце:

«Помощник и покровитель бысть мне во спасение: сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу Его, славно бо прославился»...

К аналою подошел священник, зажег свечу и начал читать Великий канон Андрея Критского: «Откуда начну плакати окаяннаго моего жития деяний; кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию, но яко благоутробен, даждь ми прегрешений оставление».

После каждого прочитанного стиха хор вторит батюшке:

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя»...

Долгая, долгая, монастырски строгая служба. За погасшими окнами ходит темный вечер, осыпанный звездами. Подошла ко мне мать и шепнула на ухо:

– Сядь на скамейку и отдохни малость...

Я сел, и охватила меня от усталости сладкая дрема, но на клиросе запели: «Душе моя, душе моя, возстани, что спиши!»

Я смахнул дрему, встал со скамейки и стал креститься.

Батюшка читает: «Согреших, беззаконновах и отвергох заповедь Твою»...

Эти слова заставляют меня задуматься. Я начинаю думать о своих грехах. На масленице стянул у отца из кармана гривенник и купил себе пряников; недавно запустил комом снега в спину извозчика; приятеля своего Гришку обозвал «рыжим бесом», хотя он совсем не рыжий; тетку Федосью прозвал «грызлой»; утаил от матери «сдачу», когда покупал керосин в лавке, и при встрече с батюшкой не снял шапку.

Я становлюсь на колени и с сокрушением повторяю за хором: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя»...

Когда шли из церкви домой, дорогою я сказал отцу, понутив голову:

– Папка! Прости меня, я у тебя стянул гривенник! – Отец ответил: «Бог простит, сынок».

После некоторого молчания обратился я и к матери:

– Мама, и ты прости меня. Я сдачу за керосин на пряниках проел. – И мать тоже ответила: «Бог простит».

Засыпая в постели, я подумал:

– Как хорошо быть безгрешным!

Преждеосвященная

После долгого чтения часов с коленопреклоненными молитвами на клиросе горько-горько запели: «Во царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во царствие Твое»...

Литургия с таким величавым и таинственным наименованием «преждеосвященная» началась не так, как всегда...

Алтарь и амвон в ярком сиянии мартовского солнца. По календарю завтра наступает весна, и я, как молитву, тихо шепчу раздельно и радостно: в-е-с-н-а! Подошел к амвону. Опустил руки в солнечные лучи и, склонив набок голову, смотрел, как по руке бегали «зайчики». Я старался покрыть их шапкой, чтобы поймать, а они не давались. Проходивший церковный сторож ударил меня по руке и сказал: «Не балуй». Я сконфузился и стал креститься.

После чтения первой паремии открылись Царские врата. Все встали на колени, и лица богомольцев наклонились к самому полу. В неслышную тишину вошел священник с зажженной свечой и кадиллом. Он крестообразно осенил коленопреклоненных святым огнем и сказал:

– «Премудрость, прости! Свет Христов просвещает всех»...

Ко мне подошел приятель Витька и тихо шепнул:

– Сейчас Колька петь будет... Слушай, вот где здорово!

Колька живет на нашем дворе. Ему только девять лет, и он уже поет в хоре. Все его хвалят, и мы, ребяташки, хоть и завидуем ему, но относимся с почтением.

И вот вышли на амвон три мальчика, и среди них Колька. Все они в голубых ризах с золотыми крестами и так напомнили трех отроков-мучеников, идущих в печь огненную на страдание во имя Господа.

В церкви стало тихо-тихо, и только в алтаре серебристо колебалось кадило в руке батюшки.

Три мальчика чистыми, хрустально-ломкими голосами запели:

— «Да исправится молитва моя... Яко кадило пред Тобою... Вонми гласу моления моего»...

Колькин голос, как птица, взлетает все выше и выше и вот-вот упадет, как талая льдинка с высоты, и разобьется на мелкие хрусталинки.

Я слушаю его и думаю: «Хорошо бы и мне поступить в певчие! Наденут на меня тоже нарядную ризу и заставят петь... Я выйду на середину церкви, и батюшка будет кадить мне, и все будут смотреть на меня и думать: «Ай да Вася! Ай да молодец!» И отцу с матерью будет приятно, что у них такой умный сын...

Они поют, а батюшка звенит кадилом сперва у престола, а потом у жертвенника, и вся церковь от кадильного дыма словно в облаках.

Витька — первый баловник у нас на дворе, и тот присмирел. С разинутым ртом он смотрит на голубых мальчиков, и в волосах его шевелится солнечный луч. Я обратил на это внимание и сказал ему:

— У тебя золотой волос! Витька не расслышал и ответил:

— Да, у меня не плохой голос, но только сиплый маленько, а то я бы спел!

К нам подошла старушка и сказала:

— Тише вы, баловники!

Во время «великого входа» вместо всегдашней «Херувимской» пели:

«Ныне силы небесный с нами невидимо служат, се бо входит Царь Славы, се жертва тайная совершена доносится».

Тихо-тихо, при самой беззвучной тишине батюшка перенес Святые Дары с жертвенника на престол, и при этом шествии все стояли на коленях лицом вниз, даже и певчие.

А когда Святые Дары были перенесены, то запели хорошо и трогательно: «Верою и любовью приступим, да причастницы жизни вечная будем». По закрытии Царских врат задернули алтарную завесу только до середины, и нам с Витькой это показалось особенно необычным.

Витька мне шепнул:

— Иди, скажи сторожу, что занавеска не задернулась!..

Я послушался Витьку и подошел к сторожу, снимавшему огарки с подсвечника.

— Дядя Максим, гляди, занавеска-то не так... Сторож посмотрел на меня из-под косматых бровей и сердито буркнул:

— Тебя забыли спросить! Так полагается...

По окончании литургии Витька уговорил меня пойти в рощу:

— Подснежников там страсть! — взвизгнул он.

Роща была за городом, около реки. Мы пошли по душистому предвесеннему ветру, по сверкающим лужам и золотой от солнца грязи, и громко, вразлад пели только что отзвучавшую в церкви молитву: «Да исправится молитва моя»... и чуть не переругались из-за того, чей голос лучше.

А когда в роще, которая гудела по-особенному, по-весеннему, напали на тихие голубинки подснежников, то почему-то обнялись друг с другом и стали смеяться и кричать на всю рощу... А что кричали, для чего кричали — мы не знали.

Затем шли домой с букетиком подснежников и мечтали о том, как хорошо поступить в церковный хор, надеть на себя голубую ризу и петь:

«Да исправится молитва моя».

Исповедь

— Ну, Господь тебя простит, сынок... Иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то три целковых плочено,— напутствовала меня мать к исповеди.

– Деньги-то в носовой платок увяжи, – добавил отец, – свечку купи за три копейки и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй «в орла и решку» и батюшке отвечай по совести!

– Ладно! – нетерпеливо буркнул я, размахисто крестясь на иконы.

Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал:

– Простите меня, Христа ради!

На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, и далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы.

Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень.

– Куда это ты таким пижоном вырядился? – спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер.

– Исповедаться! – важно ответил я.

– В добрый час, в добрый, но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня «подметалой мучеником», – осклабился дворник. На это я буркнул: ладно!

Мои приятели – Котька Лютов и Урка Дубин пускают в луже кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду.

Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо.

– Ишь, Васька зафорсил-то! – насмешливо отзывается Котька. – В пальто новом... в сапогах, как кот... Обувь лаковая, а рожа аховая!

– А твой отец моему тятке до сих пор полтинник должен! – сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступаю по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпным голосом:

– Сапожные шпильки!

Ах, с каким бы наслаждением я наклеил бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, адиёт, шкилетина, что у него отец в колбасной служит, а мой тятка сапожник... Сапожник, да не простой! Купцам да отцам дяконам сапоги шьет, не как-нибудь!

Гудят печальные великопостные колокола.

– Вот ужо... после исповеди, я Котьке покажу! – думаю я, подходя к церкви.

Церковная ограда. Шершавые вязы и мшистые березы. Длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала «Великого повечерия». С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет:

– Ва-а-сь-ка! Сыпь сюда!

Я как будто бы не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы.

– Одежду и сапоги измыгаешь, – вздыхаю я, – нехорошо, когда ты во всем новом!

– И вот, светы мои, в пустыне-то этой подвизались три святолепных старца, – рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. – Молились, постились и трудились... да... трудились... А кругом одна пустыня...

Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня, почему-то в виде неба без облаков.

– Васька! И ты исповедаться? – раздается сиплый голос Витьки.

На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему три копейки, данные матерью, чтобы купить мыла для стирки, за что и влетело мне по загревку.

– Пойдем сыгранем в орла и решку, а? – упрасивает меня Витька, показывая пятак.

– С тобой играть не буду! Ты всегда жулишь!

– И вот пошли три старца в един град к мужу праведному, – продолжает дядя Осип.

Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю: «Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым!..»

Великое повечерие. Исповедь. Густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках.

— Ну, сахар-то, поди, таскал без спросу? — ласково спрашивает меня.

Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю:

— Не... у нас полка высокая!..

И когда спросил он меня «какие же у тебя грехи?», я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод.

«Вот, вот, — встревожился я, — сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия...»

И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: кайся!

Я переминаюсь с ноги на ногу. У меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами.

— Батюшка... — произношу сквозь всхлипы, — я... я... в Великом посту... колбасу трескал! Меня Витька угостил. Я не хотел... но съел!..

Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные, светлые слова.

Уходя от аналая, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично.

— Ты что?

— Батюшка! У меня еще один грех. Забыл сказать его... Нашего дворника Давыда я называл «подметалой мучеником»...

Когда и этот грех был прощен, я шел по церкви, с сердцем ясным и легким, и чему-то улыбался.

Дома лежу в постели, покрытый бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу, как отец тачает сапог и тихо, с переливами, по-старинному, напевает: «Волною морскою, скрывшего древле». А за окном шумит радостный весенний дождь...

Снился мне рай Господень. Херувимы поют. Цветочки смеются. И как будто бы сидим мы с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения.

— Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал!

— И ты, Котя, прости меня. Я тебя шкилетом ругал! А кругом рай Господень и радость несказанная!

Причащение

В Великий Четверг варили пасхальные яйца. По старинному деревенскому обычаю, варили их в луковичных перьях, отчего получались они похожими на густой цвет осеннего кленового листа. Пахли они по-особенному — не то кипарисом, не то свежим тесом, прогретым солнцем. Лавочных красок в нарядных коробках мать не признавала.

— Это не по-деревенски, — говорила она, — не по нашему свычаю!

— А как же у Григорьевых, — спросишь ее, — или у Лютовых? Красятся они у них в самый разный цвет, и такие приглядные, что не нагладишься!

— Григорьевы и Лютовы — люди городские, а мы из деревни! А в деревне, сам знаешь, свычаи от самого Христа идут...

Я нахмурился и обиженно возразил

— Нашла чем форсить! Мне и так никакого прохода не дают: «деревенщиной» прозывают.

— А ты не огорчайся. Махни на них ручкой и вразуми: деревня-то, скажи, Божьими садами пахнет, а город керосином и всякой нечистью. Это одно. А другое — не произноси ты, сынок, слова такого нехорошего: форсить! Деревенского языка не бойся, — он тоже от Господа идет!

Мать вынула из чугунок яйца, уложила их в корзиночку, похожую на ласточкино гнездышко, перекрестила их и сказала:

— Поставь под иконы. В Светлую заутреню святить понесешь...

На Страстной неделе тише ходили, тише разговаривали и почти ничего не ели. Вместо чая пили сбитень (горячую воду с патокой) и закусывали его черным хлебом. Вечером

ходили в монастырскую церковь, где службы были уставнее и строже. Из этой церкви мать принесла на днях слова, слышанные от монашки:

– Для молитвы пост есть то же, что для птицы крылья.

Великий Четверг был весь в солнце и голубых ручьях. Солнце выпивало последний снег, и с каждым часом земля становилась яснее и просторнее. С деревьев стекала быстрая капель. Я ловил ее в ладонь и пил,— говорят, что от нее голова болеть не будет...

Под деревьями лежал источенный капелью снег, и чтобы поскорее наступила весна, я разбрасывал его лопатой по солнечным дорожкам.

В десять часов утра ударили в большой колокол, к четверговой литургии. Звонили уже не по-великопостному (медлительно и скорбно), а полным частым ударом. Сегодня у нас «причастный» день. Вся семья причащалась Святых Христовых Тайн.

Шли в церковь краем реки. По голубой шумливой воде плыли льдины и разбивались одна о другую. Много кружилось чаек, и они белизною своею напоминали летающие льдинки.

Около реки стоял куст с красными прутиками, и он особенно заставил подумать, что у нас весна, и скоро-скоро все эти бурые склоны, взгорья, сады и огороды покроются травами, покажется «весень» (первые цветы), и каждый камень и камешек будет теплым от солнца.

В церкви не было такой густой черноризной скорби, как в первые три дня Страстной недели, когда пели «Се жених грядет в полунощи» и про чертог украшенный.

Вчера и раньше все напоминало Страшный суд. Сегодня же звучала теплая, слегка успокоенная скорбь: не от солнца ли весеннего?

Священник был не в черной ризе, а в голубой. Причастницы стояли в белых платьях и были похожи на весенние яблони — особенно девушки.

На мне была белая вышитая рубашка, подпоясанная афонским пояском. На мою рубашку все смотрели, и какая-то барыня сказала другой:

– Чудесная русская вышивка!

Я был счастлив за свою мать, которая вышила мне такую ненаглядную рубашку.

Тревожно забили в душе тоненькие, как птичьи клювики, серебряные молоточки, когда запели перед великим выходом:

«Вечери Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, егда приидеши во Царствие Твое».

– Причастника мя приими...— высветлялись в душе серебряные слова.

Вспомнились мне слова матери: если радость услышишь, когда причастишься,— знай, это Господь вошел в тебя и обитель в тебе сотворил.

С волнением ожидал я Святого Таинства.

– Войдет ли в меня Христос? Достоин ли я? Вострепетала душа моя, когда открылись Царские врата, вышел на амвон священник с золотою Чашей, и раздались слова:

– Со страхом Божиим и верою приступите!

Из окна, прямо в Чашу упали солнечные лучи, и она загорелась жарким опаляющим светом.

Неслышный, с крестообразно сложенными руками, подошел к Чаше. Слезы зажглись на глазах моих, когда сказал священник: «Причащается раб Божий во оставление грехов и в жизнь вечную». Уст моих коснулась золотая солнечная лжица, а певчие пели, мне, рабу Божьему, пели: «Тела Христова приимите, источника бессмертного вкусите».

По отходе от Чаши долго не отнимал от груди крестообразно сложенных рук,— прижимал вселившуюся в меня радость Христову...

Мать и отец поцеловали меня и сказали:

– С принятием Святых Тайн!

В этот день я ходил словно по мягким пуховым тканям, — самого себя не слышал. Весь мир был небесно тихим, переполненным голубым светом, и отовсюду слышалась песня: «Вечери Твоя тайная... причастника мя приими».

И всех на земле было жалко, даже снега, насильно разбросанного мною на сожжение солнцу:

– Пускай доживал бы крохотные свои дни!

Двенадцать Евангелий

До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в котором понесу свечу от страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддерживать в ней неугасимый огонь до Вознесения.

– Евангельский огонь, – уверяла мать, – избавляет от скорби и душевной затеми!

Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбежать к Гришке, показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:

– Ничего себе, но у меня лучше!

При этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами.

– Такой фонарь, – убеждал Гришка, – в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит!

Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?

Свои опасения поведал матери. Она успокоила.

– В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому, – в руках донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый огонь и доносила!

Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой зарей. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь.

– Тихо-то как! – заметил матери. Она призадумалась и вздохнула:

– В такие дни всегда... Это земля состраждет страданиям Царя Небесного!..

Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви, ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой воркующей волной Воскресенская церковь.

От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую.

Начиналось чтение двенадцати Евангелий. Посередине церкви стояло высокое Распятие. Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно измученной. По складам читаю славянские письма у подножия креста: «Той язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».

Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском всеми оставленный, – и в глазах моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь... После ектений, в которой трогали слова: «О плавающих, путешествующих, недугующих и страждущих Господу помолимся», – на клиросе запели, как бы одним рыданием:

«Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся».

У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете, – световидные и милостивые.

Из алтаря, по широким унывым разливам четвергового тропаря вынесли тяжелое, в черном бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Все стало затаенным и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее.

С неумоимой скорбью был положен «начал» чтения первого Евангелия «Слава страстем Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится теплой и нежной. В ее огоньке тоже живое и настороженное.

Во время каждения читались слова, как бы от имени Самого Христа.

«Людие мои, что сотворих вам, или чем вам стужих, слепцы ваша просветих, прокаженныя очистих, мужа суца на одре возставих. Людие мои, что сотворих вам и что ми воздаете? За манну желчь, за воду оцет, за еже любити мя, ко кресту мя пригвоздиша».

В этот вечер, до содрогания близко, видел, как взяли Его воины, как судили, бичевали, распинали, и как Он прощался с Матерью.

«Слава долготерпению Твоему, Господи».

После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед Распятием и запели «светилен».

«Разбойника благоразумного во едином часе раеви сподобил еси, Господи; и мене Древом крестным просвети и спаси».

С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни — идут из других церквей. Под ногами хрустит лед, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с реки доносится ледяной треск, и на черном небе, таком просторном и божественно мощном, много звезд.

— Может быть, и там... кончили читать двенадцать Евангелий, и все святые несут четверговые свечи в небесные свои горенки?

Плащаница

Великая Пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затучило, заветрило и потяжелело.

— Будут стужи и метели,— зябко уверял нищий Яков, сидя у печки,— река сегодня шу-у-мная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый знак!

По издавнему обычаю, до выноса Плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь,— чтобы вид скоромного не омрачал душу соблазном.

— Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху?— спросил меня Яков.— Не знаешь. «Светозар-День». Хорошие слова были у стариков. Премудрые!

Он опустил голову и вздохнул:

— Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдешь. Все грехи сымутся!

— Хорошо-то оно хорошо,— размышлял я,— но жалко! Все же хочется раньше разговеться и покушать разных разностей... посмотреть, как солнце играет... яйца покатать, в колокола потрезвонить!..

В два часа дня стали собираться к выносу Плащаницы. В церкви стояла гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от нее поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Ее Сына, и плакать... А Он будет утешать Ее словами:

Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе... Возстану бо и прославлюся...

Рядом со мною стал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровел как-то и призадумался. Подошел к нам и Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных красках.

— Ты что такой мазаный? — спросил его. Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:

— Десяток яиц выкрасил!

— У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! — указал Витька.

— Да ну!? Поплюй и вытри!

Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришкино лицо и еще пуще размазал его.

Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалеку от нас, взглянула на Гришку и засмеялась.

— Иди, вымойся,— шепнул я ему,— нет сил смотреть на тебя. Стоишь, как зебра!

На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, не поют птицы и по реке ходит колышень:

«Вся тварь изменяшеса страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе Солнце омрачашася, и земли основания сотрясахуса, вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый, Господи, слава Тебе». Время приближалось к выносу Плащаницы.

Едва слышным озерным чистоплеском трогательно и нежно запели. «Тебе одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердый плач восприим».

От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо.

Смущенный и красный, прикоснулся Свечой к ее огоньку, и рука моя вздрогнула. Она взглянула на меня и покраснела.

Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала Плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос ее на середину церкви, в уготованную для нее гробницу. Батюшке помогали нести Плащаницу самые богатые и почетные в городе люди, и я подумал:

— Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!

Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Все понятно, и без того больно».

Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя: «Больше не буду».

Когда все было кончено, то стали подходить прикладываться к Плащанице, и в это время пели:

«Приидите, ублажим Иосифа Приснопамятного, в ночи к Пилату пришедшего...
Даждь ми сего странного, его же ученик лукавый на смерть предаде»...

В большой задуме я шел домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова:

«Поклоняемся Страстем Твоим Христе и святому Воскресению».

Канун Пасхи

Утро Великой Субботы запахло куличами. Когда мы еще спали, мать хлопотала у печи. В комнате прибрано к Пасхе: на окнах висели снеговые занавески, и на образе «Двунадесятых праздников» с Воскресением Христовым в середине висело длинное, петушками вышитое полотенце. Было часов пять утра, и в комнате стоял необыкновенной нежности янтарный свет, никогда не виданный мною. Почему-то представилось, что таким светом залито Царство Небесное... Из янтарного он постепенно превращался в золотистый, из золотистого в румяный, и наконец, на киотах икон заструились солнечные жилки, похожие на соломинки.

Увидев меня проснувшимся, мать засуетилась.

— Сряжайся скорее! Буди отца. Скоро заблаговестят к Спасову погребению!

Никогда в жизни я не видел еще такого великолепного чуда, как восход солнца!

Я спросил отца, шагая с ним рядом по гулкой и свежей улице:

— Почему люди спят, когда рань так хороша?

Отец ничего не ответил, а только вздохнул. Глядя на это утро, мне захотелось никогда не отрываться от земли, а жить на ней вечно, — сто, двести, триста лет, и чтобы обязательно столько жили и мои родители. А если доведется умереть, чтобы и там, на полях Господних, тоже не разлучаться, а быть рядышком друг с другом, смотреть с синей высоты на нашу маленькую землю, где прошла наша жизнь, и вспоминать ее.

— Тять! На том свете мы все вместе будем?

Не желая, по-видимому, огорчать меня, отец не ответил прямо, а обняв меня (причем крепко взял меня за руку):

— Много будешь знать, скоро состаришься! — а про себя прошептал со вздохом: «Расстанная наша жизнь!»

Над гробом Христа совершалась необыкновенная заукояная служба. Два священника читали поочередно «непорочны», в дивных словах оплакивавшие Господню смерть:

«Иисусе, спасительный Свете, во гробе темном скрылся еси: о несказанного и неизреченного терпения!»

«Под землю скрылся еси, яко солнце ныне, и нощию смертною покровен был еси, но возсияй Светлейте Спасе».

Совершали каждение, отпевали почившего Господа и опять читали «непорочны».

«Зашел еси Светотворче, и с Тобою зайде Свет солнца».

«В одежду поругания, украситель всех, облакавши, иже небо утверди и землю украси чудно!»

С клироса вышли певчие. Встали полукругом около Плащаницы и после возгласа священника: «Слава Тебе показавшему нам Свет» запели «великое славословие» — «Слава в вышних Богу»...

Солнце уже совсем распахнулось от утренних одеяний и засияло во всем своем диве. Какая-то всполошенная птица ударилась клювом об оконное стекло, и с крыш побежали бусинки от ночного снега.

При пении похоронного, «с завоем», — «Святой Боже», при зажженных свечах стали обносить Плащаницу вокруг церкви, и в это время перезванивали колокола.

На улице ни ветерка, ни шума, земля мягкая, — скоро она совсем пропитается солнцем...

Когда вошли в церковь, то все пахли свежими яблоками.

Я услышал, как кто-то шепнул другому:

— Семиградский будет читать!

Спившийся псаломщик Валентин Семиградский, обитатель ночлежного дома, славился редким «таланом» потрясать слушателей чтением паремий и апостола. В большие церковные дни он нанимался купцами за три рубля читать в церкви. В длинном, похожем на подрясник, сюртуке Семиградский, с большой книгой в дрожащих руках, подошел к Плащанице. Всегда темное лицо его, с тяжелым мохнатым взглядом, сейчас было вдохновенным и светлым.

Широким, крепким раскатом он провозгласил:

«Пророчества Иезекиилева чтение»...

С волнением, и чуть ли не со страхом, читал он мощным своим голосом о том, как пророк Иезекииль видел большое поле, усеянное костями человеческими, и как он в тоске спрашивал Бога: «Сыне человек! Оживут ли кости сии?» И очам пророка представилось — как зашевелились мертвые кости, облеклись живою плотью и... встал перед ним «велик собор» восставших из гробов...

С погребения Христа возвращались со свечками. Этим огоньком мать затепляла «на помин» усопших сродников лампаду перед родительским благословением «Казанской Божией Матери». В доме горело уже два огня. Третью лампаду, — самую большую и красивую, из красного стекла, — мы затеплим перед пасхальной заутреней.

— Если не устал, — сказала мать, приготовляя творожную пасху («Ах, поскорее бы разговорень! — подумал я, глядя на сладкий соблазненный творог»), — то сходи сегодня и к обедне. Будет редкостная служба! Когда вырастешь, то такую службу поминать будешь!

На столе лежали душистые куличи с розовыми бумажными цветами, красные яйца и разбросанные прутики вербы. Все это освещалось солнцем, и до того стало весело мне, что я запел:

— Завтра Пасха! Пасха Господня!

Светлая Заутреня

Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь: «Да молчит всякая плоть человека, и да стоит со страхом и трепетом».

Вечерняя земля затихала. Дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца:

— Это для чего?

— В знак того, что на Пасху двери райские отверзаются! До начала заутрени мы с отцом хотели выспаться, но

не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчиком пришлось встречать Пасху в Москве.

— Московская Пасха, сынок, могучая! Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю! А в колоколе-то, сынок, шесть тысяч пудов, и для раскачивания языка требовалось двенадцать человек! Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне...

Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе:

— Да... часы на Спасской башне... Пробьют, — и сразу же взвизывает к небу ракета... а за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне — сто один выстрел!..

Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные сорок сороков вторят ему как реки в половодье! Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой! Могучая ночь, грому Господню подобная! Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву!

Отец умолкает и закрывает глаза.

– Ты засыпаешь?

– Нет. На Москву смотрю.

– А где она у тебя!?

– Перед глазами. Как живая...

– Расскажи еще что-нибудь про Пасху!

– Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да святолепностью была она еще лучше московской! Один монастырь-то чего стоит! Кругом – лес нехоженный, тропы звериные, а у монастырских стен – речка плещется. В нее таежные деревья глядят, и церковь сбитая из крепких смолистых бревен. К Светлой заутрени собиралось сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос Воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом – прилепляли свечи к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета - если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет, а погаснет – горькой вековухой останется!

Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотня огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят и лес шумит!

– Хватит вам вечать-то, – перебила нас мать, – высыпались бы лучше, а то будете стоять на заутрене сонными!

Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал:

– Скоро ли в церковь?

– Не вертись, как косое веретено! – тихо вспыхнула она. – Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там!

До заутрени целых два часа, а церковная ограда уже полна ребятами.

Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках – только они были видны, а людей как бы и нет.

В полутемной церкви, около Плащаницы стоит очередь охотников почитать Деяния апостол. Я тоже присоединился. Меня спросили:

– Читать умеешь? – Умею.

– Ну, так начинай первым!

Я подошел к аналою и стал выводить по складам: «Первое убо слово сотворих о Феофиле», и никак не мог выговорить «Феофил». Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание:

– Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь?

– Попробовать хотел!..

– Ты лучше куличи пробуй, – и оттеснили меня в сторону.

В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма.

«Где-то сейчас Пасха? – размышлял я. – Витает ли на небе или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежникам, вересковыми и можжевеловыми тропинками, и какой она имеет образ? Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на Светлое Христово Воскресение спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей, а святые поют «Христос воскрес из мертвых»... Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши...

Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем.

– Идет, идет! – неистово закричали ребята, хлопая в ладоши.

– Кто идет?

– Звонарь Александра! Сейчас грохнет! И он грохнул...

От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилося, а когда прошел гуд его, покатилося другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей.

Меня приметил в темноте нищий Яков.

– Светловещанный звон! – сказал он и несколько раз перекрестился.

В церкви начали служить «великую полунощницу». Пели «Волною морскою». Священники в белых ризах подняли Плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле, до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место, и в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, – словно отваливали огромный камень от гроба Господня.

Я увидел отца с матерью. Подошел к ним и сказал:

– Никогда не буду обижать вас! – прижался к ним и громко воскликнул:

– Весело-то как!

А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии заколыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб – артос, заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи.

Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси». И под эту воскреляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: «Так полагается». Пасха! Пасха Господня! – бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемые трезвоном и обогреваемые огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола. Сердце затаилось. Лицо запылало жаром. Земля куда-то исчезла – стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи!

И вот, то огромное, чего охватить не мог вначале, – свершилось! Запели «Христос Воскресе из мертвых».

Три раза пропели «Христос Воскресе», и перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм, – и перед глазами, в сиянии паникадил, больших и малых лампад, в блесках серебра, золота и драгоценных камней на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, вспыхнула Пасха Господня! Священник, окутанный кадыльным дымом, с заяснившимся лицом, светло и громко воскликнул: «Христос Воскресе», и народ ответил ему грохотом спадающего с высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину Воскресе».

Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал:

– Завтра я подарю тебе красное яйцо! Самое наилучшее! Христос Воскресе!

Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал:

– Никогда не буду называть тебя «подметалой мучеником». Христос Воскресе!

А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня:

«Небеса убо достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир видимый же и невидимый. Христос бо возста, веселие вечное...»

Сердце мое зашло от радости, – около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе Плащаницы! Сам не свой подошел к ней, и, весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал:

– Христос Воскресе!

Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались... а потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами.

А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего доброго и светлого торжества... Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»